



А к вечеру стало прохладней,
туманом наполнился сад,
и влажною тьмою горят
в нем кисти тугих виноградин.

Уже пожелтели откосы,
ботва полегла за углом,
и скоро змеиный свой дом
покинут бумажные осы.

Уедет и дед, на Шишигу
похожий. Он в полдень занес
всех птиц, пауков и стрекоз
в бездонную памяти книгу.

А там, где кончаются дачи
и тын завалился в кусты,
под корень срезают цветы.
И девушка в шарфике плачет.

Последняя августа тайна:
молчанье, слепая вина...
На все я смотрю из окна,
свидетель событий случайный.



Август... Август так небрежен,
снисходителен и светел.
На полях и побережье
ивы золотом расцветил,

пропустив дубы и клены.
Утром над проливом Старка
поднял вверх он махаонов
повеленьем своим царским.

А под вечер со слезами
долго-долго слушал пенье
женщин, что в садах срезают
виноград к Преображенью.

Он в свое сгоняет стадо
Звезды-солнца звезды-свечи.
Ох, и сам он звездопадом
с грустной осенью повенчан.



В этом городе заснеженном,
птицы мы с тобой — из ранних,
пробирались, чуть забрезжило,
посреди столетних зданий.

Переулочком от Усова
до вокзальных черных линий.
А глаза — надменно-грустные
под прищуром ярко-синим.

А глаза твои доверчиво
обещают света гроздь.
Все, что было мне начертано,
зачерпнула полной горстью.

Как ходить училась заново
с той виной неосторожной...
Все на дно морское кануло,
унеслось в пыли дорожной.

С этим городом завьюженным,
где в снегу ликуют птицы,
деревянное где кружево,
мне давно пора проститься.



Внезапно вспомню: в давнем дне,
в благословенном том апреле,

когда деревья леденели,
и кошки мерзли на окне,

и свод небес почти до крыш
спустился вьюгой иссеченный...
скамейку, сад и Дом ученых,
и мы вдвоем, и ты глядишь

на шарфик мой и на берет
мальчишеским влюбленным взглядом...
А время бьется у ограды,
безжалостно сметая след:

исчезла дата года, дня
в потоке слухов, дел и знаний.
Я не люблю воспоминаний,
теперь тревожащих меня.

И пусть на всем моя вина,
но не тебя — себя жалею,
и оснеженную аллею,
где даль за вьюгой не видна.



И лед, и жимолость, и песен наших грусть —
все замкнуто одним единым кругом.
Водоворотом, голосом упругим,
кольцом дорог, знакомых наизусть.
Преданья россов и собранье птиц —
переплелось все в этой связке млечной.
Здесь грозный Лик в часовенке Предтечи
и морок юго-западных границ.
И цепи скал на малом островке,
прижатом к материку с Востока,
где из струи воздушного потока
вошел сапсан в глубокое пике.
Играют свет и тени на траве,
смеется девочка босая у порога...
Очерчен этот круг рукою Бога
тогда и ныне, присно и вовек.
И снова сталь гремит на берегу —
меня страшат мужские эти битвы.
Меня пугают грозные битвы.
Вот пряжа и недолгие молитвы —
я тоже здесь в таинственном кругу.



Вдоль дома медленно хожу,
бросаю хлеб веселым птицам.
Ну что ж, я перешла между,
и с этим надобно смириться.

Как с малоснежною зимой,
золой на треснувших ступенях,
и, наконец-то, мне со мной
в плакучий этот день весенний,

весь сетчатый от мелких струй,
замоченный, как тюль в растворе.
Спланировал нырок на буй,
качающийся в волнах моря.

Где искаженно чуть вода
отобразила неба тучи,
и рыболовные суда,
и камень на горе горячий.



А. Р.

Взошла луна и речь остановила,
а эхо по дороге унесло.
И возвратилась молодая сила:
держат в руках сосновое весло,

чтобы, пройдя огни береговые,
разбить воды тяжелый нежный ком.
Зверье-созвездья опустили выи
и лижут соль колючим языком.

Несет волна с лугов цветы и семя —
но вольных вод закончился разбег:
здесь в устье изменило скорость время:
что в речке — миг, то в океане — век.

Там, в глубине, срослись событий звенья,
и тайн глухих отыщется исток.
Там юных женщин голубые тени
травую прорастают сквозь песок.

И мир иной уже почти нестрашен,
ночное море — деготь и магнит.

Рассудок мой! но у тебя на страже,
покачиваясь, траулер стоит.

Приветствую присутствие людское,
пусть в молчаливом образе таком
в реальный мир вернет, и успокоит,
и возвратит в земной обжитый дом.

Но как невосполнимая потеря
та ночь, плеск волн и блик небесных крыл,
когда касались рук созвездья-звери
у лодки без руля и без ветрил.



Дом с мезонином и русскою печкой,
выступивший из тридавней поры...
Там проживали две Божьих овечки,
две белых головки, две вдовых сестры.

Падает пух с тополей, и акаций
запахом пряным наполнен весь двор.
Был на хозяйстве у них кот Гораций
и грузный сосед, матерщинник и вор.

Звали соседа хозяек Мироном,
Он мог бузить две недели подряд
и недолюбливал «эти иконы»
и угол, где мирно лампы горят.

А сестры играли Брамса, и кленов
слушали шум в разноцветной пыли.
В пост еще немощно били поклоны,
а к Иверской одновременно ушли.

Все сделано было, как завещали:
тихо отпели. Потом из ворот
вышли втроем с неподдельной печалью
священник, Мирон и растерянный кот.

Впервые крестившись знаменьем крестным,
плакал Мирон. И всю ночь у перил
гладил кота. Но, вот что интересно,
со дня похорон не курил и не пил.

В прошлом уже не одна годовщина,
И мои годы пошли на излет,
Но жду иногда: вздохнет пианино
и ласковый голос кота позовет.



Нарисуй ты мне ветку сирени,
переливы, тона, полутени,
переход от росы к перламутру,
к розовой размытости утра.

Все изгибы и сомкнутость линий
в глубине фиолетово-синей,
и слияние света и хмари,
и всю нежность Творца к своей твари.

Пусть уснут здесь косматые пчелы
и раздастся звук трелей веселых
из куста, за пеньковым канатом,
где певец раскачался пернатый.

Нарисуй мне соцветья и кисти
и большие зеленые листья —
чтобы было, где серенькой птице
от ненастий грядущих укрыться.

Парамушир

Ветровая сторона,
здесь вдоль улицы канат,
здесь тайфун как завсегдагай.
Остров на краю покатою,
дикий камешек Руси.

В небесах орлан висит,
тянется к вулкану стланик.
И любой матрос и странник
знает, как непрочен век
твой, тщеславный человек.

К шуму волн мне не привыкнуть,
просыпаюсь: горлом хриплым,
белопенною гульбой
душу вымотал прибор.

А в бараке, крытом толем,
долго тянется застолье:
пьет рыбацкая семья
так, что кренится скамья.

Вот и все с Россией сходство.
Но удержишься на сходнях,

ирис сумрачный сорвешь,
бросишь в воду медный грош.

И забыть не сможешь лето
на краю, на сердце света.



Очнусь на берегу, где легкие светила
ночной волной о пирс на части раздробило.
Заледенел причал,
и лед на корке хлебной,
и якоря торчат,
как ледяные стебли.
И нитью ледяной,
как проводом, опутан
матрос иль водяной,
пропахший весь мазутом.
Но все же не могу пока еще спокойно.
Написано: забудь.
Читаю: упокой нас.
Гуляющих толпа давно уж поредела.
Бьет три, как сваи бьют, вбивая до предела.
И слева от депо идет восточный ветер.
Не сосчитать теперь и рытвин и отметин
на всем моем пути, и злом и своевольном.

А ты спокойно спи.
С тебя-то уж довольно...



Ты мой ангел белый-белый,
ты мой ангел добрый-добрый
надо мной такой несмелой,
надо мной, шипящей коброй,
надо мной, такой земной,
что ты плачешь надо мной?

Знаешь то, что я не знаю
о себе, смешной и грешной?
Что хожу всегда по краю
истины и тьмы кромешной?
Что в огне или на льду
испугаюсь, пропаду?

Не собравшая еля,
пир проспавшая в прихожей,
я тебя просить не смею —
умоляю: Ангел Божий,
в невечернем свете дня
выплачь место для меня.



Я сотню раз здесь проходила,
но засветло, а эту ночь
и чуть заметные светила
готова в ступе истолочь,

чтоб представление нарушить
о судьбах, планах и углах.
И снова у дороги кружит
тот куст, что в заревах зачах.

И в подворотне гаснут тени,
и тонут в колыханье тьмы
на Нерчинскую сто ступеней
и остов каменной тюрьмы.

Лишь дом реален — рядом с банком,
из окон льющий бледный свет.
Здесь мне о ясенях Седанки
стихи свои читал поэт.

Он беседовал растениям.
И я слышала тогда,
что смерти нет. И нет забвенья.
Лишь лестниц долгая череда

в край, где ни боли, ни вопросов,
где оживут в Его Очах
и мученик поэт-философ,
и куст, что в заревах зачах.

